

Александр Володин

Записки нетрезвого человека



*Часть сборника
С любимыми не расставайтесь!
(сборник)*



Александр Володин

Записки нетрезвого человека

«ЭКСМО»

Володин А. М.

Записки нетрезвого человека / А. М. Володин — «Эксмо»,

«Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все посходивши с ума. Проба пера. Рыба теперь гниет не только с головы, но и с хвоста. Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови. Любящие люди сосут нас больше, чем остальные. За это и любят...»

© Володин А. М.

© Эксмо

Содержание

Почемучки	7
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Александр Володин

Записки нетрезвого человека

Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все посходивши с ума. Проба пера.

Рыба теперь гниет не только с головы, но и с хвоста.

Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови.

Любящие люди сосут нас больше, чем остальные. За это и любят.

Прежде Россия славилась пушниной, лесом и бабами. Теперь бабы стали деловые, волевые. Прежде, когда становилось постыло, все могла заменить одна женщина. Теперь эту одну найти невозможно. Может быть, потому, что глаз пригляделся, чувства притупились, бдительность ослабла. Если мелькнет такая, ты ее и заметить не успеешь.

Да и мужики. Тех, кто не мог жениться (война), сменили те, кто не хочет жениться. Еще чего, взваливать на себя? Хватит и без того.

У интеллигенции вместо идей и страстей – сплетни. Называется информация.

В искусстве размножились дегустаторы. Этак, язычком: ц... ц... – устарело это, сейчас нужно вот что... Прежде *сверху* указывали, каким и только каким должно быть искусство. Теперь прогрессивные дегустаторы решают, каким и только каким оно должно быть. Одно-местный трамвай.

Сейчас, например, надо, чтобы было *страшно*. В черных машинах, в бежевых дубленках приезжают посмотреть спектакль из жизни коммунальных квартир, из жизни насекомых.

Правда, война была все же страшней, чем даже такой театр.

Время – само время насколько стало умней! Так высветило нашу глупость. И в мыслях и в разговорах стало возможно все. Почти. Только *понимаем* мы теперь еще больше, чем...

Для нас, учеников тридцать третьей школы роно на Первой Мещанской, предвоенные годы были безоблачны. Было уже ясно, что мировая революция не за горами, хотя немного и удивляло, что это там рабочий класс медлит.

Как хорошо однажды понять, что ты – человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они *помнят* тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы. Переулки прошлого, праздники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого... Стать человеком прошлого в старости – поздно: когда ничего нет в настоящем, то и прошлое не поможет. Но сейчас, когда можно еще жить настоящим, хорошо бы не зависеть от него. Да и от прошлого можно не зависеть. Каким я его вспомню, таким оно и вспомнится.

Когда мы влюблялись, не казалось ли нам, что это – на всю жизнь? Сколько раз мы ошибались в этом. Когда мы переходили на новую работу, не радовались ли мы обилию новых людей, новой жизни, не похожей на прежнюю? А когда мы привыкали к этим людям, как разочаровывались. Сначала в этом человеке, затем в том, как стали безразличны многие, а другие остались такими же незнакомыми, как прежде. И только несколько человек, а когда мы немолды – один или двое, оставались нам друзьями. Так мало...

Сын спросил: «У тебя так бывает? Вот ты знаешь, впереди будет что-то хорошее. А что хорошее – никак не вспомнить. Но что-то хорошее будет». Было у меня так, было. Очень давно. Теперь же наоборот: знаю, что впереди что-то плохое. А что именно, точно не знаю.

Началось с того, что однажды утром, когда, как обычно, одолевали черные мысли, я, чтобы снять напряжение, принял рюмашку-другую. Что неожиданно толкнуло меня к пишу-

щей машинке. И вот, стал выстукивать отдельные соображения и воспоминания. С тех пор и пишу это преимущественно в нетрезвом состоянии.

Дело в том, что в состоянии трезвом я то и дело поступаю глупо и пишу так, что потом стыдно, но уже поздно. Правда, как могу, я маскирую эту присущую глупость, усвоив грамотную фразеологию с причастными и деепричастными оборотами и так далее.

Почемучки

Почему
наши войска оказались в Венгрии, а не венгерские у нас?
Почему
наши войска оказались в Чехословакии, а не чехословацкие у нас?
Почему
наши войска оказались в Афганистане, а не афганские у нас?
Почему
наши войска оказались в Эстонии, Латвии, Литве, а не их войска у нас?
Почему
они добровольно присоединились к нам, а не мы к ним?

Как могли уцелеть невидимые нити, привязавшие мое сердце к этой стране?

Когда я попал в госпиталь, на спинку койки был намотан провод с едва слышным радионаушником. Превозмогая свое плачевное состояние, я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Я не слышал ее с начала войны, забыл, что она существует. Звуки музыкальных инструментов еле-еле складывались в мелодию. Но она была, где-то там существовала!

Теперь музыка со всех сторон – по телевидению, по радио, – не слышу, нет ее нигде.

Раньше падал духом с высоких мест. Вздирался на них долго, а падал легко и ненадолго. Теперь же особенно высоко не взбираюсь. К чему? Все равно падать. И сами-то по себе эти вершины, откуда я теперь падаю духом, прежде служили теми местами, куда я падал духом сверху.

Из-за чего только не мучился! Из-за того, что обидел – нечаянно, и не думал. Из-за того, что опоздал, из-за того, что поступил глупо. Из-за женщин, порядочных и непорядочных, из-за порядочных больше. Из-за друзей, близких и не очень. Из-за близких больше. Никогда не мучился только из-за одного: из-за того, что мучаюсь понапрасну. А жизнь между тем идет, проходит...

Еще один день рождения. В детстве поздравляли старшие, и твоя жизнь становилась для тебя значительной, праздничной... Старших нет. А поздравления младших не поднимают тебя, как прежде, в собственных глазах...

...Небезопасное тяготение к спиртному у меня, как и у многих ровесников, отчасти появилось еще на фронте, с так называемых фронтовых ста грамм, тем более что, как правило, их доставляли нам на то количество личного состава, которое было до потерь, так что могло получиться вплоть до пятисот на рядового. Но теперь мой знакомый, бывший алкоголик, сказал, что я уже не сопьюсь, потому что не позволят возраст и состояние организма, он будет сопротивляться.

Беда в том, что я, когда не выпью, – не человек. То есть вялый, скованный, малоинтересный. Если же немного приму, то становлюсь раскованным, с чувством юмора и любовью к рядом сидящей женщине. Тогда мне и со случайными людьми хорошо и им со мной хорошо.

Мы дети стольких грехов, что надо научиться хоть что-то прощать самим себе.

Всему придумывается хорошее объяснение. Только ненадолго. Придумалось, успокоило и – исчезло.

Понял слово *испытание*. Это значит: послано испытание – совершу грех или нет.

Не могу объяснить, да не могу уже и почувствовать, как я еще в школе полюбил театр. Теперь уже мало кто любит. А это было еще тогда, когда: как снег был бел, как реки чисты, как небо в этих реках сине, валютные специалисты носили доллары в торгсины, а по небу аэропланы, а по земле автомобили, а пионеры в барабаны, а диверсантов посадили, а ввысь строительные краны, а вглубь большие котлованы, а мы – чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор, нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор.

Из пионеров меня исключали красиво. Перед строем нескольких пионерских лагерей. Старший пионервожатый произнес искреннюю горячую речь. Еще большее впечатление произвело на всех окружающих выступление начальника базы, человека уже немолодого.

– Мы таких расстреливали в девятнадцатом году! – иступленно гремел он.

Я был виноват в том, что над своей койкой приколот открытку с фотографией любимого артиста Качалова (в роли Пер Баста из пьесы «У жизни в лапах»). Почему я приколот эту открытку, а не Ворошилова или Буденного? Против чего я? Что я хочу этим сказать?

В юности многие не случайно бросают институт, уезжают в дальние места – жизнь видится огромной, существовать до самого конца только *этим*, только *здесь* – страшно, дико. Лишь много лет спустя станет понятно, что *это* и *здесь* может наполнить жизнь целиком.

Будучи уверен, что театральных способностей у меня нет, я все же подал заявление на театроведческий факультет. И – вот это да! – меня приняли! А через месяц пришла повестка в армию, в тридцать девятом году начали брать студентов.

Я должен был явиться на призывной пункт. Через пять дней. Я относился к этому равнодушно и даже с интересом. Что делать с собой, я в то время не знал, пускай делают со мной что захотят, хотя бы ТАМ. К тому же так вышло, что ничего дорогого здесь, на «гражданке», я не оставлял. Как вдруг по телефону позвонила незнакомая девушка, которая про меня от кого-то все знала. (Потом выяснилось – от бывшего одноклассника.) В общем, телефонный розыгрыш. Но говорила хорошо, умно. И голос. Долгий разговор был. И вдруг она предлагает встретиться. И тут я, не смеетесь, испугался. Мне представилась девушка прекрасная и вся в белом, а я как раз через пять дней ухожу в армию, и не судьба ли устроила так, чтобы уходить было тяжело, – так наказала меня судьба.

Сказал ей об этом. Но она?

– Что вы, я такое маленькое, серенькое...

Встретились – я сразу успокоился. Правда, маленькая, серенькая. Но пять дней по улицам погуляли.

И вот, сидим в грузовых машинах, еще не стриженные. Женщины кругом плачут, а она смотрит снизу и говорит:

– Видишь, какая я у тебя бесчувственная... – И запнулась. Моторы уже тарахтят, плохо слышно.

– Что ты сказала, не понял?

– Я сказала: видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена?

Вот это да. Машины тронулись, она побежала вслед. Потом мотор, что ли, заглох, остановились. И она поодаль остановилась, прислонилась к водосточной трубе. Опять поехали – она опять побежала. Потом отстала. В войну переписывались – все с кем-нибудь переписывались. Когда попал в госпиталь, она приехала. Нянечка нас пожалела, дала обед на двоих, на кухне.

А после войны и правда поженились. Долго жили трудно. Но теперь ничего. Я уже не молод. И она не молода. Я часто устаю. Она болеет. Посмотришь отсюда назад – как коротко было все, как просто...

Безвыходных положений нет. Если трудно вместе – можно разойтись. Если, напротив, конфликт на работе – можно найти другую, похуже. Если плохо в этом городе – можно уехать в другой, поменьше. Если больше не вмоготу жить – можно перестать. Это случалось, и не раз, и с более достойными. Умерли все: Эйнштейн и Эйзенштейн, Гомер и Флобер, Фарадей и Фет... Безвыходных положений нет.

Нашу часть повезли за Москву и разместили в гигантской кирпичной казарме. В первое же воскресенье получил от моей девушки письмо, что она приедет ко мне и чтобы я пришел ее встречать.

Я пошел. Увольнительных нам еще не давали.

На дороге, довольно людной, я встретил капитана Линькова. Черный человек с металлическим голосом.

– Товарищ боец, ваша увольнительная, – остановил он меня.

– Увольнительной у меня нет, но я договорился с девушкой, что встречу ее.

– А ну – в часть!

– Я не могу, товарищ капитан. Я обещал, что приду ее встретить. Наложите на меня любое взыскание, но – потом.

– Товарищ боец, я вам приказываю вернуться в часть.

Поодаль стали останавливаться прохожие, мне было неловко, что он так кричит.

– Товарищ боец! Станьте по команде «смирно»!

– Простите, товарищ капитан, – попросил я, – все-таки я пойду. Не надо кричать, неудобно.

Он схватился за кобуру. Тогда как раз вышел приказ Тимошенко, что за невыполнение приказа командир имеет право стрелять.

– Я пошел, товарищ капитан, – сказал я, страдая от мелодраматичности этой сцены. – Простите меня, пожалуйста.

Я пошел. Стрелять он не стал.

Несколько дней меня не водили на чистку лошадей и хорошо кормили. Где-то, видимо, решался вопрос, что со мной делать. Но так ничего и не сделали, и я снова стал ходить на строевую подготовку и в конюшню.

Дедовщины тогда еще не было. Взамен было другое: как раз было узаконено правило, что командир за невыполнение приказа может рядового ударить по физиономии.

Была узаконена гауптвахта. Служили не два года, а три, а то и четыре, словом, до предстоящей войны. И так далее. Но тогда еще никто не кончал самоубийством, еще никто не подал примера, что ли...

Лицо нашего отделения определяли трое ребят с Горьковского автозавода. Зайцев – длинный, с приятным лицом, ловкий и мягкий в обхождении, Пестин – очень смысленный красивый парень, и Суродин – черный, цыганистый, он был страшно деликатен. Долгое время, когда я слышал слова «интеллигентный человек», я сразу представлял себе его.

В армии все друг о друге понятно, никому ничего не скрыть. Особенно на фронте, там – чуть поприветливей повел себя с командиром, незаметно уклонился за счет другого, – значит, ты уклонился, может быть, от смерти, переложил кровь на другого. Склонность к этому угадывалась сразу. Появилось слово «денщик».

Армия делает человека обыкновенным, рядовым, я не лучше никого, такой же, как все, и все такие же, как я.

Однажды штатский лектор обратился к нашему политруку с просьбой выделить человека, который знает стихи Маяковского. Выделили меня. Я должен был иллюстрировать стихами его лекцию. Так в будний день я попал в город.

После лекции я сидел с увольнительной в кармане на садовой скамейке. Немного наискосок, на другой скамье сидела компания девушек. Они о чем-то договаривались, хихикая, потом одна пересекла дорожку и села рядом со мной. Что я начну к ней приставать – это было им ясно. Но в будний день я был безопасен. Я решил не унижаться, сидел, не глядя на девушку, и думал о том, что я – личность ничем не хуже их, что я люблю Достоевского и Пастернака, что у нас в школе были такие же девочки, перед которыми я не стал бы унижаться, и т. д. Независимо посидев так достаточное время, я решил посмотреть на нее. Это была школьница. Такой я не встречал в своей жизни и едва ли когда-нибудь встречу. Она была красивая, серьезная, умная, все могла понять. Когда я потом рассказывал о ней в отделении, Сурудин так ее назвал: «Звезда».

Я не смог подняться и уйти достойно. Я заговорил с ней и сказал, что понимаю, в чем дело, что она просто поспорила с девочками... Мы разговорились, подружки прошли мимо, позвали ее, но она махнула им рукой. А я говорил и говорил, я торопился, потому что до этого, мне казалось, я молчал всю жизнь. Она обещала прийти к казарме в воскресенье, но не пришла.

Однажды летом в воскресенье нас строем повели в Дом Красной армии смотреть кино. Я отбил, чтобы полтора часа неправомерно бродить по городу. К концу сеанса я подошел к ДКА, чтобы незаметно просочиться в строй и вернуться в казарму. Когда открыли двери кинозала, солдаты-мальчишки выскакивали с радостными воплями.

– Что такое?

– Война! – кричали они. – Сейчас объявили. Война с Германией.

Война! Это значит – конец казарме, заграничные страны и после победы – домой!

Мы шли строем, но пели, хохотали, и командиры нас не останавливали. Было смешно, что женщины у дверей и у ворот, глядя нам вслед, плакали.

Мы сидели в бетонированных дотах старой линии обороны под Полоцком. Ходили слухи, что Буденный уже взял Варшаву, Ворошилов подступает к Берлину¹. Война вот-вот могла кончиться без нас. Мы требовали политрука, мы спрашивали, когда же наконец! Немецкие самолеты тихо летели над нашими головами куда-то в тыл и там сбрасывали бомбы.

Вскоре нас подняли по тревоге и повели назад к Полоцку. Белый город стал красно-черной развалиной. Женщины с тяжелыми мешками, спотыкаясь, шли по городу. Я представил себе, как, согнувшись под мешком, по кирпичам бредет та девушка, Звезда. А ей пристало ходить только прямо, пощелкивая каблучками.

Через некоторое время нас повели обратно в доты. Это было первое окружение.

Наши винтовочки образца 1891/1930 гг. – против автоматов, «Мессершмиттов», радиосвязи.

Тяготы войны я переносил терпеливо, как интеллигентный человек. Стыдился быть хуже кого-нибудь другого. Моя бодрость злила друзей. Меня ругнули, и я притих.

И верно, в эти первые месяцы самое уместное было молчать. В действующей армии очень мало разговаривали, отступали молчаливые люди.

Мы придумывали, балдея и заходясь от этих разговоров, как обставить встречу после войны, если кто-нибудь из нас придет к другому домой. Ни слова не говоря! – к буфету, за бутылкой водки, которая специально стоит! – и молча! – у порога! – по стакану! – граненому!

¹ Видимо – от тогдашней песни: «Дашь Варшаву! Дашь Берлин! Мы врезались в Крым!»

Встречались, но – не так, проще, уже шла жизнь.

Была одна жизнь, я уже не знал, что делать с ней, и хотел другой жизни. И она началась – в армии, и была огромна, казалась бесконечной. Но вот и она кончилась, я уже думал, что и сам кончился вместе с ней. Но настала третья – и снова так огромна, и конец только-только еще начал проглядываться. И то – не ошибка ли?

Не отсюда ли, от ощущения бесконечности этой жизни, – вера в бессмертие? Может быть, эта вера – просто привычка жить?

Одна сторона любви была для нас как бы незаконной, несуществующей. После выпускного школьного вечера мы шли по улице и поспорили: кто первый возьмет девчонку под руку. Я собрался с духом и взял под руку самую толстую, всегда отстававшую в учебе. Я был уверен, что она начнет отбиваться, и будет смешно. Но она отбиваться не стала, а, наоборот, потянула меня в переулок, завела в парадное своего дома. Девушка была неумная, но предусмотрительная и хорошо знала, что можно, а чего нельзя. Тогда все девушки берегли свою девичью честь. Некоторые доберегли до конца.

Очевидно, чувство любви, которое может стать радостью существования, не отказывает себе в праве поиздеваться. Подурачит, поводит за нос, собьет с толку, заморочит, десять раз обманет, а потом уж перед кем искупит свои забавы, а перед кем и нет. Так и проживут – и думают, что все в порядке.

И снова морочит: вон идет девушка – золотоволосая, платье треплется на ветру, она трубит в трубу... А это она просто пьет из бутылки молоко, в обеденный перерыв идет из магазина. Ну и что, ведь могла бы идти прекрасная с трубой где-нибудь в другом месте, в другое время. А вот на вокзальной скамейке задумалась, печально склонила голову... А приглядишься – лицо у нее одутловатое после портвейна: просто ей трудно поднять голову.

Через несколько лет после войны ко мне приехал друг по фронту. Сразу выпили из гра-
 неных стаканов, как раньше договаривались. Стали вспоминать о том о сем, как после ране-
 ния в легкое я не мог дышать и решил, что вот сыграл в ящик, и подумал: если бы мне дали
 прожить хоть один год, как много я успел бы за этот год сделать! Теперь-то я знал, чего стоит
 минута жизни!.. Это было смешно вспоминать, с тех пор прошло уже много лет. Но потом,
 когда приятель ушел, я начал подумывать на эту тему, и мне стало странно, что мысли, которые
 казались такими важными, теперь смешны. Да и смешны ли они? И что это со мной, и как я
 бестолково живу...

Нет, началось-то совсем не так. Были какие-то не до конца увядшие надежды. Едва меня демобилизовали, в обмотках еще, я пошел к желтенькому зданию Театрального института; по выданной некогда справке я имел официальное право вернуться на первый курс, с которого меня взяли в армию. Встречаю Евдокимова, его по зрению тогда не взяли. Уже кончает институт. Спрашиваю:

– Жень, я знаю, за войну потерял все, потерял память, никаких талантов. Воспользоваться мне этой формальной справкой или нет?

– Нет, Саша, – сказал он. – Не стоит. – Он был талантливый, я ему поверил.

Я решил пойти в Институт кинематографии.

Театр – это Шекспир, Островский, Гамсун, Чехов. А кино – это «Три танкиста», «Сердца четырех»... Попаду – хорошо. Не попаду – не страшно.

Перед экзаменом по специальности я досыта наелся хлеба (какой-то поддельный он был, сладкий). Задание было – написать рассказ, однако с непривычки к такому количеству хлеба я почти сразу почувствовал, что меня тошнит.

Преподаватель, который вел экзамен, обратился к поступающим:

– Что вы делаете, сразу пишете? Вот посмотрите на него. Он думает!

Думал же я о том, что меня тошнит.

Я успел написать около страницы, не подступив даже к началу задуманной фабулы. Пришлось отдать эту страничку и уйти.

Через несколько дней я пришел за документами. Девушки со старших курсов, которые там околачивались и были в курсе дел, рассказывали, что какой-то парень, солдат, написал потрясающий рассказ, всего одна страница, все в подтексте...

Для обучения сценарному (как и всякому другому) искусству время было трудное. Мы учились сочинять такие истории, где будто что-то происходит, но на самом деле – не происходит ничего. Мы знали такие секретные пружины, которые замыкали всякое событие на себя, отключая его от реальной жизни. Мы решали конкретные технические проблемы: способ проведения трассы, угол заточки резца – чем больше страсти в решении конкретной проблемы, тем больше убежденности, что все остальное – в порядке. Готовились утверждать утвержденное и ограждать огражденное. Для этого у нас были творческие дни, просмотры иностранных фильмов и Чехов, у которого мы учились. Но у него герои пили чай и незаметно погибали, а у нас герои пили чай и незаметно процветали.

Кто мог тогда сказать, что жизнь, самые тайные пороки и болезни ее, не могут остаться не отраженными в искусстве. Как двойные звезды, жизнь и искусство соединены невидимой тканью. Если эту ткань попытаться растянуть, рано или поздно она все равно сократится, и искусство нанесет свой запоздалый и потому особенно жестокий удар.

При распределении меня зачислили в сценарную мастерскую, где за солидную зарплату мы должны были писать сценарии. Я понял к этому времени, что писать их не могу и не буду никогда.

Моего старшего сына я начал уважать и даже стесняться, когда он еще учился в школе. В начальных классах он стал заниматься математикой, переходя постепенно к высшей. Университет он закончил рано, через год защитил кандидатскую. Обратился к области науки, которая тогда у нас считалась неперспективной. Он решил уехать в Штаты, где мог бы работать в этой области с наибольшей отдачей. Долго его не выпускали. Теперь же его несколько раз уже приглашали к нам в Союз на симпозиумы по искусственному интеллекту.

Когда в альманахе «Молодой Ленинград» первый мой рассказ приняли, воодушевленный этим, я пришел с шестилетним сыном в издательство. Редактор мне говорит:

– У вас такая фамилия, что вас будут путать. Один написал плохую статью о Шагинян, у другого какие-то нелады на радио.

Я-то понимал, в чем дело. Моя фамилия² немыслима в оглавлении среди хороших молодых русских писателей.

– Что же делать? – спрашиваю.

– Это кто – ваш сын?

– Да.

– Как его зовут?

– Володя.

² Лифшиц. – прим. ред.

– Вот и будьте Володиным. – И я стал.

Из письма сына, который в Америке: «Мне пришла в голову формула. Она красоты необычайной. К сожалению, вы ее не поймете. А впрочем, может быть, она вам все равно понравится. Вот она...» Хотел изобразить ее здесь, но в типографии таких знаков и фигур нет.

Ачу³ Литве!

Ачу тем, кто на улице приветливо отвечает, как пройти туда-то и где что находится.

Ачу за то, что никто не напомнил мне, как наши войска перешли их границу в сороковом году.

Ачу поэту Мартинайтису за строки стихотворения:

Как похожа Литва на Литву!..
И никто не сумел истребить
это литовское сходство.
Сколько войн прокатилось —
все равно уцелело небо,
похожее на Литву.

Ачу женщине, которая ответила мне по-русски: «Всего доброго». А я не сообразил ответить ей: «Ачу».

Но —

Кровопролитие в Грузии. Резня в Сумгаите. Кровь в Узбекистане. Народные депутаты встают, почитая память погибших.

А Афганистан? А Венгрия 56-го года? А Польша 81-го года? А Катынь? А самосожжения в Чехословакии, в Литве? Так и стоять депутатам?

Три года довоенной казармы, непрерывное неодинокство. В Полоцк отпускали по увольнительным хорошо если раз в четыре месяца. Полагалось бы чаще, но в воскресенье обязательно обнаруживалось нарушение дисциплины где-нибудь в городском гарнизоне, и увольнительных лишались все. Вырвавшись наконец по увольнительной в город, мы ходили по улицам и садикам Полоцка в бесплодной жажде знакомства. По воскресеньям женщины и девушки старались не выходить на улицу. Те, что выходили, знакомились только с офицерами. С рядовыми совсем уж какие-нибудь убогие. Разговоры были однообразны, никто не пытался нарушить этот ритуал: «Ну, расскажите что-нибудь». — «А что мы расскажем, мы дома сидим, а вы всего повидали, вы и расскажите». — «А что нам рассказывать, мы в казарме сидим, мы вас послушаем...»

Переформировка. И — пятидневный отпуск с фронта! Домой! В тыл! Со справкой, выданной на руки комиссаром! И я получил это! В сорок третьем году! И все смотрели на меня, и все говорили обо мне, и каждый примеривался, что бы он делал эти пять дней дома! И подмигивали мне, и говорили про тех баб, которых в тылу полным-полно, которые только и ждут! Чтобы отжаться! Пять дней!

Пропускаю дорогу, потому что не в ней дело.

И вот Москва. И останавливает патруль. Рядовой — в генеральско-спекулянтской Москве? В районной комендатуре мне дали метлу, и первый день отпуска я провел, подметая двор.

³ Ачу (лит.) — спасибо.

Потом отпустили. Пошел на Сухаревскую площадь, там до войны жили родственники, у которых я неполноправно жил.

По улицам, как ни странно, ходили военные с портфелями. На фронте я знал, что в тылу остались только самые одаренные, необходимые Родине люди. Страшно было подумать, чем я смогу заниматься там, если останусь в живых. И вот я на углу Колхозной (наоборот, Сухаревской, теперь Колхозной) площади и Первой Мещанской (проспект Мира). Поднялся на второй этаж по грязной лестнице – дверь забита, родственники уехали неизвестно куда. Тогда я пошел на Гоголевский бульвар, где жила моя мачеха, вернее даже не мачеха, потому что она поставила условие отцу, что выйдет за него, но без ребенка. Поэтому я и жил у родственников.

По дороге я, конечно, смотрел только на женщин – их тоже было много на улицах, но они были все озабочены и, судя по всему, кому-то уже принадлежали. И никто из них даже не подал намека, что хочет со мной познакомиться.

Мачеха оказалась дома. У нее было слегка пухловатое лицо, интеллигентное. Нос тоже был интеллигентный. Ходила она утиной походкой, поклевывая головкой. Она впустила меня и заплакала. И у меня ком в горле. Стал доставать из вещмешка сухой паек. Там была свиная тушенка, и сухари, и шпик, и много чего еще на пять дней. Она так смотрела на это, что я выложил все на стол и, чтобы она могла поесть без меня, не стыдился, вышел на Гоголевский бульвар. Когда вернулся, она уже все аккуратно сложила и опять заплакала. Мне стало стыдно, что я плохо о ней думал. На ночь она мне постелила на кушетке и стала рассказывать, как она не хотела идти за папу, потому что он был намного старше. Но она думала, что он обеспеченный человек, а оказалось, что он даже не обеспеченный человек. А она работала машинисткой, и ее один генерал называл «статуэтка».

На другой день в этой коммунальной квартире обнаружилась девушка. Но мачеха предупредила, что она проститутка. Она была некрасива, но не так, как бывают некрасивы студентки или домохозяйки. Я понял, что могу полюбить ее, уже люблю. Но мачеха заметила это и сказала, что она больна дурной болезнью и к ней ходит лейтенант. «А как же лейтенант?» – спросил я. «А лейтенант тоже болен. Сначала хотел ее убить, а сейчас они оба лечатся».

Вот так жил у мачехи, на улицу старался не выходить, а то заберет патруль. На третий день мне захотелось обратно. Но приехать на день раньше – ну это просто стыд будет перед всеми. Что скажу? Прожил еще один день и вернулся в часть, которая была на переформировке. И стал врать. Ведь это за них я побывал дома! За них за всех! Любой из них получил бы столько радости за эти пять дней! Это я должен был!.. И рассказывал, с кем я, и еще с кем, и что она, и что та...

Когда начались сомнения? Когда началась отдельная от государства жизнь? Точнее сказать, не мы от него отделились, а оно от нас отделилось, дало понять, что не нуждается в наших мнениях. А нам – то и дело стыдно за него. За другие государства не стыдно, они не наши, а за это стыдно, потому что оно наше, и все, что оно делает, – это как бы мы делаем. Нет, понять можно, ну – люди там, в правительстве, не очень умелые, никак не могут сообразить, не получается. К тому же, например, в бараке на пятьдесят человек труднее навести порядок, чем в квартире на троих. Словом, много объяснений можно найти.

Вопрос: почему отшельники удалялись от людей? Раньше я думал, потому, что все люди греховные, значит, подальше от них. На самом деле вовсе не так. А потому, что он, отшельник, среди людей то и дело допускает плохие, грешные, как говорится, поступки.

Соблазны, конечно, внутри нас, но возможность этот соблазн осуществить – она только среди людей.

Составляю списки, перед кем виноват. Прошу прощения. Некоторые даже не понимают, забыли за что. Но есть такие, у которых уже просил прощения и обижал снова. Грех не случается, а совершается. В результате всего предыдущего, всей жизни твоей. Позвонил по этому поводу Яше, святому человеку. А он говорит – да это у каждого есть! Думаешь, говорит, у меня нет? У него?.. Это меня сразило. Раз у всех такие мысли, значит, еще ничего. Значит, пришло время искупать, каяться. Но перед кем? Материалистическое воспитание... Вот в чем сложность.

Все многочисленное клан людей, которым необходимо властвовать. Нельзя над многими – пусть хоть над кем-нибудь. Спрос рождает предложение. Выросла порода людей, которые и сами уже подготовлены к зависимости.

Рабство последних у предпоследних (по положению), рабство нижележащих у среднесидящих, рабство среднесидящих перед вышестоящими, рабство вышестоящих перед еще более высокостоящими.

Гена Шпаликов – поэт шестидесятых годов. Короткая жизнь его целиком уместилась в том времени, которое с войны дышало еще тяжело, но уже сулило неисчислимые радости жизни. Он писал так, как будто заранее думал о нас, чтобы мы вспоминали об этих временах наивных надежд, когда они станут прошлым. В жизни он успел быть только молодым. Его любили. Его любили все.

Я его встретил в коридоре киностудии, когда он работал над своим последним сценарием. Вид его ошеломил меня. В течение двух-трех лет он постарел непонятно, страшно. Он кричал, кричал!

– Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!..

Он спивался и вскоре повесился.

Как зависит дар художника от того, на какой максимум счастья он способен! У Шпаликова этот максимум счастья был высок. Соответственно так же глубока и пропасть возможного отчаяния.

Лишь гении неподведомственны рабству. Вся мощь государственной машины во главе с Хрущевым обрушилась на Поэта и оказалась бессильной перед ним. Признавшим себя побежденным, попросившим не выдворять его за пределы Родины. Это Пастернак, если непонятно. Это знаменитое «лягушка на болоте», как выразился кто-то из простых рабочих словами какого-то из простых журналистов.

Другой поэт, женщина, прибившаяся к Родине. Уничтожила себя сама. Пятно этой гибели осталось. До сих пор отмываем, никак не отмоем до конца. Цветаева.

Неполноправная долгая моя жизнь у родственников. Потом долгая неполноправная жизнь в армии в мирное еще время.

И война первых месяцев – с марсианами, в расчете на то, что гусеницы их танков пробуксуют на нашей крови. И госпиталь с палатой на пятьсот человек – кто мог, добирался, писал в ведро, которое стояло посередине.

Это просто воспоминание, первые месяцы войны. Как прорывались, но не на запад, а на восток. В Полоцке многие набрали в вещмешки денег из брошенных магазинных касс. А на берегу какой-то речки вывалили все. В деревнях молоко давали просто так, наши деньги были уже не нужны, теперь другие будут.

Какая-то полевая кухня вылила прямо в поле гороховый суп с молоденькой картошкой. Мы тянули его прямо с травы, пока не доставал автоматный огонь. Подхватили винтовочки, побежали дальше. Бегу рядом с танком. Выхлопные газы – не продохнешь. Хотя бы с одной

стороны я защищен. Но глянул на этот танк – на броне белый крест. Фашистский. Они и не цокнули из пулемета, наверное, потешались там, внутри, надо мной, в обмоточках.

Появилось слово «окружение».

ЧОН – части особого назначения, предназначенные для того, чтобы бить с тыла пулеметным огнем по нам, отступающим.

Вдруг обнаружил записку. Чьи это слова? Кто посоветовал людям? Не знаю.

1. Не вспоминать прошлое.
2. Помнить о смерти.
3. Не думать о мнении людей.
4. Не принимать решений под влиянием настроения.

Не могу напиться с неприятными людьми. Сколько ни пью – не напиваюсь. Они уже напились – а я никак. И чем больше пью, тем больше их понимаю. И чем больше понимаю, тем противней. Никогда не пейте с неприятными людьми.

Эйдельман – человек Возрождения. Как он забрел сюда, к нам? Знавший все кровавые преступления человеческой истории, он был оптимистом. Хотя и объяснял это своеобразно: «Мы верим в удачу – не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение с приливами и отливами... Верим в удачу, ничего другого не остается». Он верил, когда почти никто не верил. Но в те мгновения, когда он это говорил, мы тоже верили! И всем на время становилось легче. На время, на время.

Суды застойных лет. Михаил Хейфец – не кинорежиссер, а учитель истории, который одновременно писал книжки об исторических героях, – сидел на скамье подсудимых и улыбался, бодро и комично. А грудь – как бы колесом. Ему было неловко перед знакомыми в зале суда, что он оказался в роли судимого народовольца, как бы героя...

Среди свидетелей был очень хороший писатель, молодой. Судья пытался в чем-то уличить и его, припугнуть, припереть к стенке, выставить на посмеище перед простыми хлопцами, которых привели сюда для атмосферы – поглотить в нужных местах над этими, диссидентами.

Дело в том, что подсудимый попытался сочинить предисловие к стихам Бродского, который к тому времени свое уже получил и, как тунеядец, отработывал положенный ему срок на лесоповале. И вот Хейфец показал как-то черновик своей статьи другу, любимому всеми писателю, который теперь и дает показания на суде. Я понятно объясняю?

– Почему после прочтения статьи вы сказали подсудимому, что его посадят? – спрашивает судья.

– Я выразился фигурально. Если, например, у меня кто-нибудь берет любимую книжку, я могу сказать: «Не вернешь – убью!» Но это же не значит, что я действительно возьму нож и...

Утомленный жизнью мозг судьи буксовал.

– Да о чем разговор-то, – продолжал свидетель, – о статье. Так ее ведь нет, есть черновик, который человек показал узнать мнение, я высказал ему свои замечания. Закончил бы он свою работу или нет и как закончил бы – неизвестно. Что же говорить о черновике?..

И далее пошел разговор, вопрос – ответ, вопрос – ответ. Человек по интеллекту примерно уровня Средневековья (я имею в виду судью) и человек Нового времени (я имею в виду свидетеля). И хлопцы, приведенные для гогота над диссидентами, тут, в зале суда, гоготали над судьей! Жаль, не увековечена эта беседа.

Суд неожиданно удалился на совещание.

Михаил Хейфец получил несоразмерный вине срок – четыре года строгого режима и два года ссылки. Думаю, на приговоре сказалась и обида суда на свидетеля.

Нынче что-то напало. Бежать, бежать... Отсюда – туда. От давних знакомых – к другим, незнакомым. А от других, незнакомых, – куда?

Никогда не толпился в толпе. Там толпа – тут я сам по себе. В одиночестве посев, по отдельной иду тропе. Боковая моя тропа! Индивидуализма топь! Где ж толпа моя? А толпа заблудилась среди прочих толп.

Позвонили из ленинградского Союза писателей:

– С вами хочет встретиться американский писатель Олби – (о нем я тогда еще не слышал), – но с ним – один подонки из США. Он говорит по-русски и хочет, чтобы нашего переводчика не было. В общем, вам не следует встречаться.

Не надо, думаю, так не надо. Хватало и отечественных подонков, а низкопоклонством я не страдал.

Несколько раз звонил по телефону человек с акцентом. Жена сразу поняла, что это *тот* подонки, и отвечала, что меня нет.

А месяца через два я в Москве зашел в подвальчик «Современника», где студийцы собирались после спектакля. И вдруг Олег Ефремов говорит:

– Да вот же он!

И вот красивый черноволосый молодой человек поднимается мне навстречу и что-то говорит по-английски. Наш переводчик мне объяснил, что это американский драматург Олби, а говорит он о том, что в Ленинграде они долго охотились за мной, но меня все время держали на даче. Так что они видели перед собой лишь толстый затылок секретаря ленинградского СП.

Сможем ли мы встретиться, когда они снова придут в Ленинград? – Конечно!

Про Олби мне уже рассказали, это был всемирно известный драматург-абсурдист, и приехал он в Россию с еще более знаменитым писателем Стейнбеком.

И правда, через некоторое время они – то есть Олби с подонком, говорящим по-русски, – снова приехали в Ленинград. Наш переводчик позвонил мне рано утром:

– Эти подонки опять хотят встретиться с вами без меня. Давайте сделаем так: вы как будто случайно узнали, что они остановились в гостинице «Астория». И приходите туда к трем часам, как раз к обеду. А я – тут как тут. Иначе у меня будут большие неприятности, да и вам, честно говоря, зачем это?..

Черт с ним, думаю, так и сделаю, мне и переводчик не помешает, а уловки уже надоели.

Подонки оказался атташе США по культуре – высокий, белокурый, похожий на Вана Клиберна. Он был близким другом президента Кеннеди, которого недавно убили. Едва зашел разговор об этом, подонки вдруг залился слезами и ненадолго покинул нас. В «Астории» мы сидели за столом с американским флажком.

И вот мы разговорились. Обо всем, что они любили, что я любил, – о Пастернаке, о Шварце, об Окуджаве; американский подонки-атташе уточнял перевод нашего переводчика то на английский, то на русский. О политике мы говорить избегали. А когда я подошел к официантке, попросить еще чего-то, наш переводчик побежал за мной:

– Вы так и говорите! С ними никто так свободно не говорил! Они охренели. Они даже меня стали считать за человека!

Олби спросил:

– Когда вы пишете, о ком вы думаете – чтоб кому было понятно?

Я – не задумываясь:

– Всем! (Я представил солдата, который по увольнительной гулял с девушкой, и вдруг дождь, и он купил входные в театр...)

Они расхохотались. Что такое?

– Я трачу много времени и сил, чтобы написать пьесу, – сказал Олби. – Пускай зрители потрудятся и попытаются ее понять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.